**Тайна человека в романе "Бедные люди"**

К. Степанян

В августе 1839 года, в письме к брату Михаилу, Достоевский писал: “Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком”1 .

Первым известным нам произведением, в котором Достоевский начал постижение этой тайны, стал роман “Бедные люди”. Долгое время этот роман прочитывался исключительно в социальном ключе, как, во-первых, художественное доказательство того, что и в самых забитых и униженных человеческих существах таятся высокие и сложные мысли и чувства, и во-вторых, как протест против социальных несправедливостей, обрекающих подобных людей на страдание. Только

В. Майков, из-за ранней смерти которого Достоевский лишился, видимо, одного из самых проницательных своих критиков, заметил, что по мере внимательного прочтения романа читатель будет продолжать открывать в нем новые, не замеченные прежде тонкие психологические штрихи: так, он считал, что в глубине души Варенька отторгала любовь Девушкина и “томилась преданностью” его и этим объясняется интонация ее последних писем. Но советы Майкова долго не были услышаны. Даже в во многом новаторской и замечательной по своим выводам книге . В. Ветловской2 утверждается, что главная причина трагедии героев этого романа — социально-экономический “порядок вещей”. Лишь в последнее время стали появляться иные прочтения.

Несколько лет назад мне довелось посмотреть камерный спектакль А. Филиппенко по этому роману; там впервые для меня прозвучала мысль, что герои Достоевского — Макар и Варенька — бедные главным образом потому, что не слышат друг друга. Отмечу также тенденцию к новому прочтению романа в работе Е. Кунильского “Смех, радость и веселость в романе “Бедные люди”” (1994)3 .

В 1998 году в журнале “Dostoevsky studies” появилась статья американской исследовательницы Кэрол Флэт ““Бедные люди”: аллегория Тела и Разума”, где, наряду с попыткой фрейдистского анализа романа, была высказана мысль об антагонизме ума и тела, то есть сознательного и бессознательного, или, как мы бы сказали, духа и плоти как центральной идее “Бедных людей”, об усилиях ума замаскировать бессознательные желания — и роли художественного слова в этом4 . Противоположный подход — в работе ““Другая любовь” в ранних произведениях Достоевского” Т. Касаткиной, где утверждается, что в “Бедных людях” показана любовь качественно иная, чем та, которую мы называем “романической” в традиционном смысле слова, — любовь-самоотдача, не зависящая от ответного жеста своего “предмета”5.

Я рискну здесь предложить свой вариант анализа романа. Он основывается, сразу скажу, на еще двух высказываниях Достоевского из его писем к брату Михаилу, а именно от

9 августа и 31 октября 1838 года: “Одно только состоянье и дано в удел человеку: атмосфера души его состоит из слиянья неба с землею; какое же противузаконное дитя человек; закон духовной природы нарушен... Мне кажется, что мир наш — чистилище духов небесных, отуманенных грешною мыслию. Мне кажется, мир принял значение отрицательное и из высокой, изящной духовности вышла сатира” (28, I; 50); “Ежели бы мы были духи, мы бы жили, носились в сфере той мысли, над которою носится душа наша, когда хочет разгадать ее. Мы же прах, люди должны разгадывать, но не могут обнять вдруг мысль. Проводник мысли сквозь бренную оболочку в состав души есть ум <...> ум человека, увлекшись в область знаний, действует независимо от чувства, следовательно, от сердца” (28, I; 53—54). Неизбежно упрощая сложный вопрос о мировоззрении Достоевского в докаторжный период его жизни, можно сказать, что здесь выражено миропонимание в духе платоновской философии с последующими гностическими наслоениями (опять-таки в упрощенном виде): люди — как эманация духов небесных, отягченных на земле бренной плотью, подвластной злу (или порожденной злым началом), и отсюда неизбежный антагонизм, раздвоенность человека, в котором борются возвышенные устремления с низменными. Такого рода понятия должны были неизбежно вступать в конфликт с популярными в обществе (и имевшими тогда немалое влияние на Достоевского) утопическими представлениями о доброй природе “естественного человека” и с фурьеристскими теориями о возможности использовать во благо человека все стороны его натуры и утвердить взаимную любовь между людьми — как детьми одного Отца, ибо пороки человека не прирождены ему, а порождены лишь ненормальными социальными условиями. Весь комплекс этих противоречий и отразился, на мой взгляд, в “Бедных людях”, где борьба добра и зла в душе человека показана как неизбежный, труднопостижимый и загадочный процесс.

Уже в эпиграфе о “сказочниках” говорится, что они “всю подноготную в земле вырывают”. Если вспомнить, что одни из немногих художественных произведений, которые, помимо многократно вспоминаемых “Шинели” и “Станционного смотрителя”, читал еще Макар, — это “Картина человека” А. Галича и “Ивиковы журавли” Шиллера (где именно соприкосновение людей “с мирами иными” во время мистерии привело к обнаружению подноготной душ преступников), — можно сказать, что мысль эта была одной из главных для Достоевского. И двукратная замена им в оригинале “запретить им писать” на “запретил”, подчеркивает, думаю, двойственное отношение творца художественного слова к роли этого самого слова: и проясняющей, и скрывающе-разрушительной. Двойственное отношение к книге (печатному художественному слову), явленное в “Бедных людях”, — книга может дать силу, но может и послужить преградой между человеком и жизнью, — подробно рассмотрено Н. Черновой в ее докладе на японском симпозиуме “ХХI век глазами Достоевского: перспективы человечества”6 . От себя добавлю, что такова же в этом романе и роль “слога”, вообще слова как такового. Принято считать, что Макар Девушкин, обретая на наших глазах “слог”, восстанавливает свой подлинно человеческий образ; мало того: “в сюжете романа происходит чудо — чудо воскрешения души словом”7. Но Платон писал о невыговариваемости и невыразимости словами высшего блага. И это понятно: если дух и материя разъединены, то материальное выражение духа — слово — будет ущербно и “затемнено” по своей природе.

Рассмотрим с этой точки зрения текст “Бедных людей”, останавливаясь только на наиболее выразительных, на мой взгляд, местах.

Первое письмо Макара — откровенно любовное, именно в “романическом” и даже, насколько это возможно в данном случае, эротическом смысле: “и на сердце моем было точно такое ощущение, как тогда, как я поцеловал вас, Варенька, — помните ли, ангельчик? <...> Так ли, шалунья?” Затем следует описание нового жилища Макара, в свое время разобранное М. Бахтиным как образец “слова с оглядкой”. Но Бахтин анализировал слово Девушкина как “оглядывающееся” на “чужого человека”, я же рассматриваю его как “оглядывающееся” именно на Вареньку — и на совесть свою, то есть на Бога.

Получив отповедь от Вареньки, Макар уверяет ее, что “единственно отеческая приязнь одушевляла его”, затем еще раз самоуничтожается, но с характерной оговоркой: “Мы, старые, то есть пожилые, люди, к старым вещам <...> привыкаем”. И здесь же впервые проявляется проблема художественного слова или “слога”: в первом, радостно-игривом письме Макар обещает Вареньке описать своих соседей “сатирически”; после Варенькиной отповеди, возвращенный к истинному положению дел, он от этого отказывается: “не мастер описывать” — и еще добавляет в постскриптуме: “Я, родная моя, сатиры-то ни об ком не пишу теперь. Стар я стал, матушка, Варвара Алексеевна…” В третьем письме Макар все же берется за описание своего “удобного” жилища и соседей, но выходит сущий ад или “содом”, и в этом аду романтичнейшие любящие герои романа Леонара Тереза и Фальдони являются вечно ругающимися друг с другом злобными уродами. Да и в окружающей природе нет никакого “благорастворения воздухов” — это литургическое выражение употреблено здесь Девушкиным с явной издевкой. И — уже с некоторой складкой — опять признание, что слогу у него нет никакого.

Уже в следующем письме Вареньки — первые свидетельства “темной” стороны их отношений: Анна Федоровна упрекает Вареньку в том, что она живет милостыней от Макара и на его содержании; Макар, осмеянный Варенькой, отказывается не только заходить к ней, но и сопровождать ее на Волково кладбище к могиле матери, хотя Варенька его многократно просила. Вынужденная предпринять поход одна, Варенька жестоко простудилась и долго была в беспамятстве.

Похвала Вареньки — после поездки “на острова” — сразу же вызывает у Макара приступ амбиции: “Пишете вы мне, родная моя, что я человек добрый, незлобивый, ко вреду ближнего неспособный и благость Господню, в природе являемую, разумеющий, и разные, наконец, похвалы воздаете мне (Варенька писала только, что он “человек добрый”. — К. С.). Все это правда, маточка, все это совершенная правда; я и действительно таков, как вы говорите (прямо евангельские интонации. — К. С.), и сам это знаю...” Затем начинает жаловаться на то, что именно потому, что он добрый, злые люди его обижают, а он — никому не в тягость, своими трудами кусок хлеба зарабатывает и даже награждения получает, вот только слогу нет — потому-то и “службой не взял”; и в конце: “Все-таки приятно от времени до времени себе справедливость воздать”. Замечательно, что, увлекшись всем этим, Макар “не слышит” окончания Варенькиного письма про поездку на острова — о том, что она там “ноги промочила и оттого простудилась; Федора тоже чем-то больна, так что мы обе теперь хворые”.

Затем в отношениях Макара и Вареньки некоторая идиллия (правда, неизвестно, так ли со стороны Вареньки, ее голоса мы не слышим): “…я никогда моих дней не проводил в такой радости. Ну, точно домком и семейством меня благословил Господь!” И вот тут-то наступает время литературы. А литература, как узнает Макар, “это картина, то есть в некотором роде картина и зеркало”. Начинается посещение собраний у Ратазяева, он посылает какую-то “пренегодную книжонку” Вареньке, а после ее негодующего отзыва тут же отрекается: книжку эту он не читал. Затем описывает, как он обедает у Ратазяева, намекает на какие-то “романеи” и на то, что он, Макар, читает Поль де Кока, но для Вареньки эта книжка “не годится” (зачем бы тогда и упоминать?). Кончается это еще одним всплеском амбиции: “...ну что, если б я написал что-нибудь, ну что тогда будет <…> вышла бы в свет книжка под титулом “Стихотворения Макара Девушкина”!”

Макар категорически возражает против намерения Вареньки принять должность гувернантки, дважды уверяя, что “мы все довольны и счастливы — чего же более?” между тем в письмах Вареньки этого периода ни довольства, ни счастья нет. Довольный собой и разрешением конфликта в “Станционном смотрителе” Пушкина, он утверждает: “право, и я так же бы написал; отчего же бы и не написал?” — как Пушкин. И “Станционного смотрителя” просит Вареньку перечитать — как предостережение. Но от чего? Скорее всего, от того, чтобы она не бросила его, Макара, и он бы не “спился, грешный”.

Начинают звучать тревожные ноты в письмах Вареньки: понимает ли он, Макар, что делает, тратя на нее все свои деньги? На это следует рассказ Макара о том, как он однажды в молодости, влюбившись в актрисочку, тоже потратил весь капитал — целковый рубль — и видел лишь край занавески и несколько дней мимо окон ее ходил (параллели довольно очевидные) — “замотался совсем, задолжал, а потом уж и разлюбил ее: наскучило!”.

Благодать, исходящая из “Станционного смотрителя” (то есть явленное в слове единство людей в Боге и между собой), поднимает Девушкина до размышлений о равенстве всех людей, а отсутствие благодати в “Шинели” опускает до констатации неравенства и самовозвеличения как нормы: “Да ведь на том и свет стоит, маточка, что все мы один перед другим тону задаем, что всяк из нас один другого распекает”. Негодование на Гоголя он переадресует Вареньке: “...нет, Варенька! Вот от вас-то именно такого и не ожидал” (и это не совсем беспочвенно, ибо — на что не все обращают внимание — из посланной книги Гоголя как раз Варенька посоветовала ему прочесть именно “Шинель”, какими соображениями она руководствовалась при этом, мы можем только догадываться). И прямо вслед за этим — как будто книга Гоголя изъяла благодать из мира вообще — следует падение Макара. Оказывается, он истратил на Вареньку все свои деньги, не предупредив ее об этом (и всячески отговаривая ее идти в гувернантки), и остался совершенно без средств к существованию. Неудивительно, что “открытием всего этого” Варенька поставлена в страшно мучительное положение: “всё то, чем вы хотели доставить мне удовольствие, обратилось теперь в горе для меня и оставило по себе одно бесполезное сожаление”; “все это мучит и убивает” Вареньку. Мало того, ей приходится теперь из своих мизерных средств давать денег Макару для уплаты хоть части долга квартирной хозяйке.

Но Макар и не думает раскаиваться, в ответ он пишет: “амбиция моя мне дороже всего” и вообще никто ничего не узнает (о его запое и поведении в пьяном виде), “ну, а в таком случае это все равно что как бы его и не было”. Мало того, пытается сделать вид, что и того, о чем писала Варенька, как бы и нет: “Слава Богу, что <…> не считаете меня вероломным другом и себялюбцем за то, что я вас у себя держал и обманывал вас, не в силах будучи с вами расстаться” (а ведь по сути именно в этом его Варенька и обвиняет). Варенька еще посылает ему денег, и деньги эти ему “сердце пронзили”, но все это подвигает его лишь на упреки Вареньке — за ее упреки ему: “вот именно-то теперь грех на вашей стороне и на совести вашей останется”; затем опять-таки уверяет себя и ее, что дело обстоит не так, как оно обстоит: “это всё вы резонное-то только так говорите, а я уверен, что на сердце-то у вас вовсе не то”. Когда выясняется, что сплетни, пущенные про их с Варенькой отношения, привели к приходу к ней офицера с “недостойным предложением”, Макар пишет: вся эта история такова, “что хоть бы и не читать” про нее.

Варенька прощает его, она сострадает ему, она приглашает его обедать — и сейчас, и в дальнейшем. Казалось бы, мечта Макара о том. чтобы им жить “одним домком”, сбывается. Но нет, Макар опять ударяется в амбицию: “не попрекайте меня”. “Ну, уж был грех такой, что ж делать! — если уж хотите непременно, чтобы тут грех какой был”. Прощения попросить ему в голову не приходит, напротив, жалуется на то, что после попреков Вареньки у него в груди “все изныло”. После чего начинает обличать всех вокруг — пасквилянтов-писателей, фальшивых благодетелей, богатых, которые, по его мнению, только и думают, что они, мол, в ресторанах обедают, а бедный человек “кашу без масла есть будет”, бывшего “доброго человека” Ратазяева, подозревая того в распространении сплетен; затем подробно и слезно описывает свое бедственное положение Вареньке. Лишившись, по его собственному выражению, “игривости чувств”, он лишается и заботы о том, чтобы не причинить боль Вареньке. Мало того, затем следует совсем уж непонятное (на первый взгляд): “Нечего греха таить, прогневили мы Господа Бога, ангельчик мой!”

Результат всего этого — бунт против самого почитаемого им — против литературы: не надо книжек присылать ему, в них “про неправду все написано” (как будет позже говорить Смердяков) — “небылица в лицах”, и вообще: “и роман вздор”, “и Шекспир вздор, всё это сущий вздор, и всё для одного пасквиля сделано!” — то есть вся литература обличает человека в том, чего на самом деле нет. Но Варенька и это прощает ему и советует не упрекать никого и не мучаться подозрениями, делая при этом вроде бы странное, но очень важное в свете интересующей нас темы замечание: “Смотрите, ведь я вам говорила прошедший раз, что у вас слог чрезвычайно неровный”.

К Вареньке является (скорей всего, по “наводке” “благодетельницы” Анны Федоровны) некий “старик с орденами”, с весьма недвусмысленными целями — но на первых порах предлагающий ей тоже “отеческие чувства” (вспомним Девушкина: “отеческая приязнь одушевляла меня, единственно чистая отеческая приязнь, Варвара Алексеевна”). К. Мочульский считает, что тема влечения взрослого (пожилого) мужчины (отца) к юной девушке-девочке появляется в творчестве Достоевского со “Слабого сердца” (Юлиан Мастакович) и потом находит продолжение в образах Мурина, князя Валковского, Свидригайлова, Тоцкого, Ставрогина, Федора Павловича Карамазова8 . Но, думается, эта, одна из важнейших для Достоевского тем началась с первого его произведения.

После этого визита Варенька, несмотря на все предыдущие просьбы к Макару не занимать денег и вообще не тратиться на нее, в отчаянии буквально умоляет его достать 25 рублей, чтобы переехать с этой квартиры. Но Макар опять не желает отпускать ее от себя: “…вы тогда у меня улетите, как пташка из гнездышка” (и тем самым подготовляет трагический финал с визитом Быкова и всем последующим). Но тут уже случай психологически более сложный, поэтому Макар… начинает жаловаться: “такие-то бедствия страшные и убивают дух мой”, “они и меня <…> извести хотят”, “…да и вы-то, Варенька, вы-то какие жестокие!”. Затем начинает описывать, в каком дурном состоянии находится его гардероб и сколько чего ему нужно докупить, чтобы одеться приличней, да еще и табаку нужно — “потому что <…> я без табаку-то жить не могу”. Вот и весь ответ — со вскользь выраженной надеждой занять денег — на отчаянно молящее письмо Вареньки. Неудивительно, что Варенька отвечает: “Уж хоть вы-то бы не отчаивались! И так горя довольно. Посылаю вам тридцать копеек серебром; больше никак не могу. Купите себе там, что вам более нужно <…> У нас у самих почти ничего не осталось, а завтра уж и не знаю, что будет”. И далее: “Все, конечно, скажут, что у вас доброе сердце, но я скажу, что оно уж слишком доброе”. На что Макар, ничтоже сумняшеся, горделиво отвечает ей: рад, что “чувствам моим должную похвалу воздали”, и опять начинает жаловаться на свое бедственное положение и на врагов своих, вспоминает, при упоминании шинели, и “пачкунов и марателей” (то есть Гоголя). Затем описывает в подробностях неудавшуюся попытку занять денег у процентщика Маркова. Здесь есть характерная фраза: “Мимо —ской церкви прошел, перекрестился, во всех грехах покаялся да вспомнил, что недостойно мне с Господом Богом уговариваться (то есть молитва как единение с Богом, а не как отношение с другим, закрыта для Девушкина. — К. С.). Погрузился в себя самого, и глядеть ни на что не хотелось; так уж, не разбирая дороги, пошел”.

В следующем письме Макар опять жалуется и отчаивается: “я погиб, и вы погибли” — после найденного письма соседи “обо всем знают”; характерно, что он и не пытается объяснить, что никакого “всего” нет — вместо этого называет Ратазяева предателем. В ответ на его жалобы Варенька посылает ему еще раз тридцать копеек (характерна эта повторяющаяся “предательская” цифра!). После этого Макар опять пускается в запой, вводя в отчаяние Вареньку — “вы меня просто с ума сведете”, “до чего вы меня довели” — “пальцем на меня указывают и <…> прямо говорят, что связалась я с пьяницей”; она приглашает его, чтобы утешить, и посылает ему еще двугривенный, призывает его к искреннему раскаянию. Но в ответ Макар пишет ей пьяно-разоблачительное письмо: “я вовсе не такой старик, как вы думаете”. Протрезвев, тоже, однако, утверждает, что в происшедшем “ни сердце, ни мысли мои не виноваты” — “не знаю, чту виновато”; далее следует знаменитое объяснение, что, полюбив Вареньку, осознал себя человеком, а почувствовав, что, “гоним судьбою <...> предался отрицанию собственного своего достоинства”. Но поскольку непосредственным поводом для всего этого послужили присланные Варенькой деньги, то можно предположить, что достоинство это заключалось для него в возможности быть опекающим, но не опекаемым.

Затем следуют два письма-зеркала — Варенькино с воспоминаниями о золотом детстве и признаниями, что “моя мечтательность изнуряет меня”, и Макара, с описанием его путешествия на Фонтанку и на Гороховую. Здесь квинтэссенция бунта Макара против сложившегося порядка вещей: почему одним достается все, а другим ничего, почему счастье выпадает “Иванушке-дурачку” — а другим “только облизывайся”. Параллельно возникают его мечты о том, чтобы и Варенька в карете ездила, а он бы ей в окна заглядывал, — как уже отмечено в литературоведении, эта его мечта вскоре в точности исполняется, на горе всем. Затем Макар поднимается до высот философского обобщения и “слога”: злые люди лишены истинного бытия, они “только числятся, а на деле их нет, и в этом я уверен”.

Но тут же следует демонстрация того, что все разделения на добрых и злых относительны. Любовь к человечеству, при невозможности помочь людям, обращается часто в ненависть — эту мысль Достоевский сформулировал много позже “Бедных людей”, но доказывает ее, на частном примере, уже Макар. “Бедненький, посинелый от холода” мальчик попросил у него милостыню, но денег у Макара нет, невозможность подать мальчику его мучает и беспокоит — и он тут же разражается упреками в адрес неведомой ему матери мальчика: “зачем эти гадкие матери детей не берегут и полуголых с записками на такой холод посылают. Она, может быть, глупая баба, характера не имеет <…> Ну, да всё обратиться бы, куда следует; а впрочем, может быть, и просто мошенница, нарочно голодного и чахлого ребенка обманывать народ посылает, на болезнь наводит”. И тут же, не замечая сходства ситуаций, обрушивается на богатых — которые не любят, чтобы бедняки на худой жребий жаловались — “дескать, они беспокоят”. А отсюда он переходит уже к общечеловеческим обобщениям: “все мы <…> выходим немного сапожники” (и бедные, и богатые мечтают о сапогах — по-своему, и снятся им сапоги). При этом подчеркивает, что это не клевета (“клеветой гнушаюсь!”), не хандрой минутной навеяно и ни из какой книжки не вычитано. Следом он прямо признается, что написал все это, чтобы Вареньке “образец хорошего слогу моих сочинений показать”, а мысли такие помогают “справедливость себе воздать”. Но тут же следуют два доказательства, что отнюдь не все “сапожники”. Макар отдает свои последние двадцать копеек, евангельские “две лепты” вдовицы, голодному Горшкову (то есть Самому Христу, выполняя тем условие вхождения в рай), а затем следует сцена у его превосходительства, описанная Макаром уже “без слога, а так, как мне на душу Господь положит”. Причем первая из этих сцен, если читать их, что называется, пропуская через душу, гораздо более потрясает, чем вторая, — а меж тем оказалась незамеченной ни Белинским, ни остальной критикой того времени! Первая сцена — зеркальное отражение второй, тут благодетелем был Девушкин, там — его превосходительство, и загадочные для многих исследователей слова его превосходительства “а теперь грех пополам” как раз и демонстрируют, в чем действительно могут быть едины люди — в грехе, сострадании и милосердии.

Даже такой вдумчивый исследователь, как К. Мочульский, пишет, что в мире “Бедных людей” “все можно было бы устроить, если бы достать немного денег”9 . Но не спасают ни полученные от его превосходительства 100 рублей Макара и Вареньку, ни выигранные по суду деньги — Горшкова, ибо дело-то не в них. Совсем напротив: после этого жена Горшкова на какое-то время забывает о муже и он умирает, а Макар становится окончательно глух к крику отчаяния Вареньки (появился Быков с его предложением, что делать), он увлечен новыми проектами устройства их совместной жизни. Варенька, словно предчувствуя недоброе, настаивает на переезде, постоянно просит зайти, но Макар, в эйфории от всего происшедшего с ним у его превосходительства и от того, что купил себе новые сапоги и прошелся в них по Невскому, перестает что-либо воспринимать. Он, правда, кается перед Богом за “ропот, либеральные мысли, дебош и азарт”, но потом перецеловывает все записочки Вареньки и строит планы на будущее: “...не разлучайтесь со мною теперь <…> мы опять будем писать друг другу счастливые письма <…> Займемся литературою…”. Счастливых писем больше не будет, и литературы тоже больше не будет. Как предвестник конца, появляется некто с толстой рукописью для перебеливания, в которой о чем-то непонятном написано (ситуация с заказчиком “Реквиема” из “Моцарта и Сальери”), Макар с головой уходит в эту работу, так что известие о скором замужестве и отъезде Вареньки обрушивается на него действительно небесным громом. И тут-то с него окончательно слетает и “слог”, и всякие рассуждения, слова вообще на какой-то момент начинают употребляться им как бы автоматически: “…я, маточка, спешу вам объявить, что я изумлен. Все это как-то не того <…> Конечно, во всем воля Божия; это так, это непременно должно быть так, то есть тут воля-то Божия непременно должна быть; и промысел Творца Небесного, конечно, и благ и неисповедим, и судьбы тоже, и они то же самое”; Вареньке “теперь ехать <…> никак невозможно” — “такой мокрый дождь” идет; “вы пишете, что в будущее заглянуть боитесь. Да ведь сегодня в седьмом часу всё узнаете. Мадам Шифон сама к вам приедет”.

Последнее письмо Макара — единственное без даты, ибо время кончилось, — невозможно читать без слез, по-моему, даже тем, кто читал его уже множество раз. После отъезда реальной Вареньки Макар обретает, казалось бы, все, чего желал раньше, — переезжает к ней, может дописывать все, что ему хочется, в начатом ею и оставленном для него письме с первой фразой, перечитывать Пушкина. Но момент, когда он заглядывает за ширмочку и видит пустую кровать Вареньки, напомнил мне — если учесть, что жить Вареньке, скорей всего, осталось недолго — финальную сцену “Идиота” (особенно если вспомнить, о чем писала Т. Касаткина, таинственное исчезновение тела Настасьи Филипповны после ее смерти)10.

**\* \* \***

Мы очень мало знаем о мировоззрении и внутренней жизни Достоевского со времени его приезда в Петербург в 1837 году и до ареста в апреле 1849 года, о том, как проходило противоборство светлых романтических идеалов его юности с соблазнами и искушениями (главным образом идеологическими) столичного города. Один из наиболее авторитетных специалистов в достоевистике — профессор В. Захаров (с мнением которого о том, что ““Бедные люди” до сих пор не поняты”, полностью согласен) считает, что Достоевский уже с первых своих шагов в литературе был писателем христианской традиции11 . Не стану возражать, но мне думается, что в те годы, о которых идет речь, христианство Достоевского, не прошедшее еще огненное горнило сомнений и испытаний (о котором как о необходимой предпосылке своей осанны он писал в конце жизни, в период создания “Братьев Карамазовых”), не было еще достаточно стойким и укорененным. Вспомним, что спустя совсем недолгое время после написания “Бедных людей” Достоевский, встретившись с Белинским, “страстно принял все учение его” (21; 12). И это не были всего лишь прекраснодушные социалистические упования — к чему порой склоняются исследователи. Как показал в своей обстоятельной работе “Диалог Белинского и Достоевского: философская алгебра и социальная арифметика” И. Виноградов, “учение” Белинского той поры представляло собой жуткую веру в то, что миром управляет некое абсолютно злое и абсолютно равнодушное к человеку начало: “Велик Брама — ему слава и поклонение во веки веков! Он порождает, он и пожирает, все из него и все в него — бездна, из которой все и в которую все! Леденеет от ужаса бедный человек при виде его! Слава ему, слава: он и бьет-то нас, не думая о нас, а так — надо ж ему что-нибудь делать. Наши мольбы, нашу благодарность и наши вопли — он слушает их с цигаркой во рту и только поплевывает на нас, в знак своего внимания к нам…

Погибающая собака возбуждает в нас жалость, мухи гибнут тысячами на наших глазах — и мы не жалеем их, ибо привыкли думать, что случайно рождаются и случайно исчезают. А разве рождение и гибель человека не случайность? Разве жизнь наша не на волоске всечасно и не зависит от пустяков?.. Разве Бог не всемогущ и не безжалостен, как эта мертвая и бессознательно-разумная природа, которая матерински хранит роды и виды по своим политико-экономическим расчетам, а с индивидуумами поступает хуже, чем злая мачеха? Люди в глазах природы то же, что скот в глазах сельского хозяина: хладнокровно решает она: этого на племя пустить, а этого зарезать”.

И. Виноградов, цитируя эти строки, открывает здесь (отдавая, впрочем, приоритет В. Кирпотину) прямую параллель с “огромным, неумолимым и немым зверем”, управляющим миром, по мнению Ипполита (роман “Идиот”)12. (И не есть ли это, добавлю от себя, то самое устройство мира, при котором Христос оказывается “вне истины”, — вспомним знаменитые и до сих пор не разгаданные слова Достоевского из письма Фонвизиной?) А отсюда Белинский, продолжает исследователь, закономерно делает вывод о том, что оставленный на собственный произвол (то есть лишенный божественной благодати) человек может и должен, в рамках собственной судьбы, переустраивать мир по собственному усмотрению — и, как высшее проявление “атеистического гуманизма”, совершать кровавые революции: да, погибнут при этом десятки тысяч, но “что кровь тысячей по сравнению с унижением и страданием миллионов?” А это уже — доведенная до предела раскольниковская арифметика, — справедливо указывает Виноградов13. И вот такое учение принял автор “Бедных людей”, впоследствии характеризовавший этот период своей жизни так: “Нечаевым, вероятно”, он тогда “не мог сделаться”, однако “нечаевцем” — “не ручаюсь, может, и мог бы” “в случае если б так обернулось дело” (21; 129).

В литературе о Достоевском часто цитируются знаменитые строки из “Петербургских сновидений в стихах и прозе”, где он описывает свое видение на Неве однажды в зимний январский вечер, когда на фоне догоравшего заката, в отблесках инея и мерзлого пара ему вдруг показалось, “что весь этот мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами, в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искурится паром к темно-синему небу <...> Я как будто что-то понял в эту минуту, до сих пор только шевелившееся во мне, но еще не осмысленное; как будто прозрел во что-то новое, совершенно в новый мир, мне незнакомый и известный только по каким-то темным слухам, по каким-то таинственным знакам. Я полагаю, что с той именно минуты началось мое существование...” И вскоре затем: “И стал я разглядывать и вдруг увидел какие-то странные лица. Всё это были странные, чудныяе фигуры, вполне прозаические, вовсе не Дон Карлосы и Позы, а вполне титулярные советники и в то же время как будто какие-то фантастические титулярные советники. Кто-то гримасничал передо мною, спрятавшись за всю эту фантастическую толпу, и передергивал какие-то нитки, пружинки, и куколки эти двигались, а он хохотал и всё хохотал!”.

Этот переломный момент в жизни и творчестве Достоевского обычно относится исследователями к зиме 1844 года и совпадает с ключевым этапом в творческой истории “Бедных людей” — когда первоначальная “сентиментальная повесть об обманутой девушке” соединяется с историями Макара Девушкина, отца и сына Покровских, “горемыки Горшкова”, — то есть возникает собственно роман “Бедные люди”14 . Трактуется это как переход от сентиментально-романтического к реалистическому или социально-критическому восприятию мира. Мне думается, что здесь речь идет несколько о другом. Я бы расценил это как первое осознание великим писателем онтологической реальности зла, то есть присутствия в мире того реального злого начала (“Кто-то гримасничал передо мною, спрятавшись за всю эту фантастическую толпу, и <...> хохотал и всё хохотал!”), в рабство к которой попадают не знающие истину люди (“передергивал какие-то нитки, пружинки, и куколки эти двигались”). И здесь можно снова вспомнить впечатление, произведенное на Девушкина “Шинелью” Гоголя. В своей работе “Холод, стыд и свобода. История литературы sub speciе Священной истории” С. Бочаров, вспоминая известные суждения о Гоголе В. Розанова (“И он, сидя на обледенелых развалинах его же собственным смехом разрушенного мира, складывает и не может сложить из плоских льдин то, что ему особенно хотелось бы, слова “Вечность” и “Вечная любовь””), утверждает, что этот не называемый даже по имени “он”, и “тот зловеще-таинственный образ некоего соглядатая”, которого увидел за текстом “Шинели” Девушкин, и “кто-то” из процитированного воспоминания Достоевского — указывают в одном направлении. Правда, Бочаров, вместе с американским исследователем Р. Л. Джексоном, считает, что розановский взгляд на Гоголя больше соответствует психологической реакции Девушкина, но не Достоевского, взгляд последнего на путь развития русской литературы “диалектичен”15. Мне же думается, что Достоевский просто видел дальше Девушкина. Не вдаваясь в подробный богословский и философский разбор данной проблемы, скажу лишь, что из такой мировоззренческой посылки возможны два пути: либо путь внутреннего воскресения человека — освобождения из рабства; либо фатализм обреченности, — зло не просто “таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты” (как писал Достоевский позднее — 25; 201), — оно непобедимо. Рискну предположить, что для молодого Достоевского вопрос этот еще не был решен ни “в сторону положительную, ни в отрицательную” (если пользоваться известными формулировками из “Братьев Карамазовых” — там применительно к Ивану). Этим объясняется, на мой взгляд, и болезненное, на грани срыва, состояние его духа в тот период, и состояние “мистического ужаса”, описанное им впоследствии, при воспоминании о тех годах, в “Униженных и оскорбленных”: “Это — самая тяжелая, мучительная боязнь чего-то, чего я сам определить не могу, чего-то непостигаемого и несуществующего в порядке вещей, но что непременно, может быть сию же минуту, осуществится, как бы в насмешку всем доводам разума придет ко мне и станет передо мною как неотразимый факт, ужасный, безобразный и неумолимый <...> Мне кажется, такова отчасти тоска людей, боящихся мертвецов. Но в моей тоске неопределенность опасности еще более усиливает мучения”.

Исследователи отмечают, что с возникновением христианства “античный идеализм сменяется христианским реализмом”: стала ясна причина пороков человека и открылся путь их преодоления. Я думаю, что идеалистический дуализм, некоторое манихейство миропонимания Достоевского в первый период его творчества способствовали тому, что “реализм в высшем смысле” в его произведениях еще не утвердился. Чтобы победить реальность зла, которое “ничто, но оно есть; небытие, но существует; темная бездна, перед которой изнемогает рассудок, но которую чует сердце” (К. Мочульский)16, чтобы преодолеть мучительный кошмар его неизбежности, нужно было открыть подлинную — а не отвлеченно-утопическую — реальность добра (что и произошло с Достоевским на каторге и после нее). Иначе “тайна человека” будет постоянно представляться темной и всепоглощающей бездной. Об этом свидетельствует, в частности, такое обстоятельство. Большинство произведений “докаторжного периода” творчества Достоевского поддаются более или менее аргументированным фрейдистским трактовкам: помимо уже названной Кэрол Флэт, назову здесь только работы отечественных ученых А. Бема, Т. Розенталь, И. Ермакова, К. Истомина,

Н. Осипова, для западных же приверженцев фрейдистского и психоаналитического методов “Бедные люди”, “Двойник”, “Хозяйка” и особенно “Неточка Незванова” (отношения Неточки с отцом и с Катей) являются излюбленным и богатым полем деятельности. При этом, повторяю, такие трактовки не выглядят смехотворными — в отличие от подобных же подходов к “Преступлению и наказанию”, “Идиоту” или “Карамазовым” (там сразу становится видна не то чтобы их неприменимость, но их весьма отдаленная “касательность” по отношению к главному содержанию).

Отсюда же — из не утвердившейся еще основы “реализма в высшем смысле” — и двойственность роли слова и “слога” в ранних произведениях: слова даже в конечной своей глубине не соединяют людей друг с другом и человека с Богом. Когда же утвердится “реализм в высшем смысле”, станет возможным то, что произошло с Подростком: “перевоспитал себя самого, именно процессом припоминания и записывания”.

**Список литературы**

1 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30 тт. Т. 28(I). Л., 1985. С. 63. Далее все цитаты из произведений Достоевского приводятся по этому изданию. В цитатах слова, выделенные мною, даны полужирным шрифтом. — К. С.

2 Ветловская В. Роман Ф. М. Достоевского “Бедные люди”. Л., 1988.

3 В сб.: Новые аспекты в изучении Достоевского. Петрозаводск, 1994. С. 144—170.

4 Flath Carol A. Poor Folk: An Allegory of Body and Mind // Dostoevsky Studies. Vol. II. №. 2, 1998. P. 44—61.

5 Касаткина Татьяна. О творящей природе слова. Онтологичность слова в творчестве Ф.М. Достоевского как основа “реализма в высшем смысле”. М., 2004. С. 141—151.

6 Чернова Наталья. Книга как “персонаж”, метафора и символ в “Бедных людях” Ф.М. Достоевского // XXI век глазами Достоевского: перспективы человечества. М., 2002. С. 335—347.

7 Захаров В. Н. Христианский реализм в русской литературе (постановка проблемы) // Евангельский текст в русской литературе XVIII—XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр / Сб. научных трудов. Вып. 3. Петрозаводск, 2001. С. 17.

8 Мочульский К. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995. С. 262.

9 Мочульский К. Указ. соч. С. 264.

10 Касаткина Татьяна. Указ. соч. С. 388.

11 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Изданiе въ авторской орфографiи и пунктуацiи подъ редакцiей профессора В. Н. Захарова. Т. I. Петрозаводск, 1995. С. 617, 621.

12 Виноградов И. По живому следу. Духовные искания русской классики. Литературно-критические статьи. М., 1987. С. 86—87, 99.

13 Виноградов И. Указ. соч. С. 94—95.

14 Бем А. Л. Первые шаги Достоевского (Генезис романа “Бедные люди”) // Бем А. Л. Исследования. Письма о литературе. М., 2001. С. 73—77.

15 Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999. С. 137—146.

16 Мочульский К. Указ. соч. С. 246.